

4. Spickmen N. The Geography of the Peace, New York, Harcourt, Brace and Company, 1944.
5. The Geography of Border Landscapes / Rumley D. and Minghi J. eds. Routledge: London, 1991.
6. Bzhezinskij Z. Velikaya shaxmatnaya doska. M., 1982.
7. Dogovor o principax deyatel'nosti gosudarstv po issledovaniyu i ispol'zovaniyu kosmicheskogo prostranstva, vkluchaya Lunu i drugie nebesnye tela, 1967 g.
8. Kolosov V. Teoreticheskaya limologiya: novye podhody // Prostranstvo i vremya, 2003, t. 1 (№ 3).
9. Kolosov V.V., Turovskij R.F. Sovremennye gosudarstvennye granicy: novye funkcii v usloviyax integracii i prigranichnoe sotrudnichestvo // Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya. 1998. № 1.
10. Konvenciya OON po morskomu pravu 1982 g.
11. Konvenciya o mezhdunarodnoj otvetstvennosti za usherb, prichinennyj kosmicheskimi ob'ektami 1972 g.
12. Krutskix A. Kosmos v politicheskom izmerenii (<http://www.intertrends.ru/fourteen/002.htm>).
13. Soglashenie o deyatel'nosti gosudarstv na Lune i drugix nebesnyx telax 1979 g.
14. Soglashenie o spasanii kosmonavtov, vozvrashhenii kosmonavtov i vozvrashhenii ob'ektov, zapushhennyx v kosmicheskoe prostranstvo, 1968 g.
15. Federal'nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 1 aprelya 1993 g. N 4730-I g. Moskva. «O Gosudarstvennoj granice Rossijskoj Federacii» // <http://www.rg.ru/1993/05/04/gosgranica-dok.html>.
16. X. Makinder. Kruglaya Zemlya i obretnie mira (perev. i komment. V. Cymburskogo) // Zhurnal'nyj klub Intelros, «Kosmopolis» № 16, 2007.
17. X. Dzh. Makkinder. Demokraticheskie idealy i real'nost' // <http://www.politstudies.ru/fulltext/2011/2/12.pdf>.

UDC 321.01+342.1

GEOPOLITICS: FROM POLITICAL PLANIMETRY TO POLITICAL STEREOMETRY

Rusakov Vasilii Matveevich,

Institute of International Relations,
Head of the Chair of Philosophy and Culturology,
Doctor of Sciences (Philosophy), full professor,
Ekaterinburg, Russia,
E-mail: dipi@nm.ru

Saranchin Yurii Konstantinovich,

Ural state economic university,
PhD, professor,
Yekaterinburg, Russia

Annotation

We analyze the content of the main categories of reformatting geopolitics (lines, borders, the scope of sovereignty) in the process of globalization and the complexity of the system of international relations, geopolitical plane and space geometry.

Key words:

border, sovereignty, geopolitics, international law.

МЕЖДУ ДВУХ КУЛЬТУР: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ВЕХИ ТВОРЧЕСТВА БЫВШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УРГУ

Интервью с М.А. Малышевым

Интервью подготовила и провела И.Б. Фан



*Михаил Алексеевич Малышев (05.06.1943) – профессор-исследователь Гуманитарного факультета Автономного университета штата Мехико, координатор научного журнала *Ciencia ergo sum* г. Толука (Мексика). Он кандидат философских наук (1971), в 1970–1980-е годы – доцент кафедры истории философии Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Михаил Алексеевич является членом национальной системы исследователей Мексики, Московской академии естественных наук, Международной академии дискурс анализа. За многолетнюю работу Михаил Алексеевич был награжден Почетной грамотой Автономного университета штата Мехико как лучший преподаватель факультета, а также ему было присвоено звание Лучшего преподавателя высшей школы Мексики.*

Высокое признание получала деятельность М.А. Малышева в качестве профессора-советника ФПК педагогического университета Гаваны (Куба), профессора-советника Факультета философии и словесности университета Сантьяго де Куба (Куба), Исследователя Центра по рас-

пространению и координации латиноамериканских исследований Национального Автономного университета Мексики, приглашенного профессора Факультета философии и словесности Автономного университета Нового Леона. Михаил Алексеевич участвовал в 70 симпозиумах и конгрессах на национальном и международном уровнях. Он член редколлегии журналов «La Colmena», «Coatepec», «Дискурс-Пи».

*М.А. Малышев автор более 150 научных работ на русском и испанском языках, изданных в России, Мексике, Испании, Германии, Бразилии, США и ряде других стран. Его публикации поражают многообразием жанров – это научные монографии и статьи, книги афоризмов, эссе, переводы (напр., Хосе Ортега-и-Гассет. *Лекции по метафизике*. Екатеринбург, 2000). Среди них и книги, изданные в России: *Человек и мир его переживаний* (Екатеринбург, 2000), *Аффективные переживания и поиски смысла жизни* (Екатеринбург, 2006), *Признание – выражение смысла отношения человека к человеку* (М., 2003) и др.*

Уважаемые читатели, надеемся, что Вы откроете для себя философскую антропологию Михаила Алексеевича Малышева – живую, искреннюю, соединяющую разум и чувства, дающую огромный заряд выстраданного, но тем более глубокого оптимизма и любви к человеку.

– Михаил Алексеевич, расскажите немного о семье, родителях, выборе профессии.

Я родился 5 июня 1943 года в небольшом шахтерском городе Киселевске Кемеровской области в день начала грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге. Мой отец, инвалид войны, был механиком, мать – товароведом. Имя мне дала моя тетя в честь своего мужа Михаила, погибшего под Сталинградом. Солдат срочной службы, мой отец перед войной находился в пехотной части на границе с Польшей и вступил в свой первый бой 22 июня 1941 года. Изрядно измотанное в непрерывных оборонительных боях, его подразделение каким-то чудом вышло из окружения, потеряло знамя, было переформировано, а затем влило в одну из сибирских частей, переброшенных на защиту столицы. В белом маскировочном халате, под прикрытием танков отец участвовал в разгроме фашистских войск под Москвой. В начале февраля 1942 года он был тяжело ранен и отправлен на лечение в родной город, где и встретил мою мать, которая работая, одновременно, помогала в уходе за ранеными в госпитале.

В Отечественной войне участвовали десять моих родственников, и половина из них погибла на фронте. Моя тетя, Дарья Семеновна Малышева, в начальные годы войны возглавляла комитет комсомола Уралмашзавода, была одним из организаторов Уральского добровольческого танкового корпуса и в чине майора дошла до Будапешта. По линии отца почти все мои предки были коммунистами. Напротив, моя мать происходила из преследуемой семьи, члены которой до утверждения сталинской Конституции были лишены гражданских прав и возможности обучаться в вузах. Мой дед по материнской линии был выпускником Томского университета, а бабушка закончила Новосибирскую гимназию с золотым крестом. К сожалению, Октябрьская революция, открыв доступ к обучению миллионам неграмот-

ных, одновременно, наложила вето на высшее образование детей непролетарского происхождения, создав, тем самым, благоприятные условия для возникновения полукультурного слоя, «образованщины», склонной к догматизму и начетничеству, составившей костяк административно-идеологической obsługi сталинского режима. Знаменитые зощенковские и булгаковские персонажи убеждают в том, что неграмотный человек менее опасен, чем полубразованный: первый, в силу своей профессиональной непригодности, мало на что может притязать, тогда как второй должен все время как-то ловчить и притворяться, скрывать свою некомпетентность или неспособность самостоятельно мыслить за маской демагогии или лакейского правила «держаться и не пущать», которое не мешает ему, однако, исключать себя из правил, как только открывается лазейка для извлечения собственной выгоды. По этому поводу я написал афоризм: «Я – исключение, но к остальным примените всю силу закона. Это исключение себя из закона, призванного подчинить всех без исключения своим предписаниям, почти не знает исключения».

Родители моей семьи негативно относились к Сталину. Мой дед и дядя по материнской линии погибли в застенках Гулага, а старший брат отца провел 18 лет на Колыме и выжил благодаря тому, что работал механиком по ремонту большегрузных автомобилей на знаменитой Колымской трассе. Другой мой дядя, попав в немецкий плен, умер от голода в советском концлагере на территории республики Коми. Я хорошо помню, как зимой 1957 года, после завершения работы XX съезда КПСС, отец вернулся домой с закрытого партийного собрания, сорвал со стены портрет Сталина и разорвал его в мелкие клочки.

Уже в подростковом возрасте я начал остро ощущать «ролевую раздробленность» своей личности: мне казалось, что в школе я – один человек, на улице, в кругу мальчишек, не отличавшихся ангельскими нравами, – другой, в деревне, куда я уезжал на летние каникулы к своему дяде – третий. Наконец, особой сферой моего бытия был мир книг. Едва научившись читать, со временем я превратился в страстного «книгочея», а в 15 лет замахнулся, разумеется, из юношеского тщеславия, на «Науку логики» Гегеля. Текст первого тома мне удалось одолеть только до половины, и я не могу

сказать, что эта утомительная штудия обогатила мой незрелый ум. И, тем не менее, гегелевское искусство оперирования противоположностями, виртуозность перехода одного понятия в другое произвели на меня уже тогда ошеломляющее впечатление. Весьма плодотворным для моего самообразования было чтение художественной литературы, публицистики, журналов «Вопросы литературы» и «Вопросы философии». Толстой, Чехов, Куприн, Шекспир, Диккенс, Бальзак, Белинский, Герцен, Писарев, наряду с Жюлем Верном, Робертом Уэллсом, Джеком Лондоном, служили источником идей и переживаний, питавших мой подростковый ум. Неумное чтение однажды подтолкнуло меня к мысли о «писательстве». Вооружившись ручкой, я уселся за стол и... надолго застыл перед чистым тетрадным листом. С трудом выдавив из себя несколько тощих фраз, я заново перечитал их и в гневе все перечеркнул. Несколько бесплодных попыток завершились суровой констатацией: «твой стиль – неуклюж, а мысли – банальны». Этот беспощадный самоприговор, нанесший удар по уязвленному самолюбию, не прошел для меня бесследно: с тех пор я стал строже относиться к себе, хотя излишний ригоризм нередко сковывал мою потребность в самовыражении.

Закончив среднюю школу и утвердившись в гуманитарном призвании, я мечтал поступить на философский факультет. Но удаленность сибирского города от столицы, робость провинциала, сомнения в собственных силах и боязнь конкуренции с абитуриентами, обладавшими привилегиями при зачислении, отрезвили мою мечту. В конце концов, я остановил свой выбор на историческом факультете Уральского университета. Свое решение я никогда не подвергал сомнению даже в сослагательном наклонении. Память о годах учебы на истфаке и поныне пробуждает во мне образы «хрущевской оттепели», полуголодного, но нестесненного режима жизни, страстных споров со своими сверстниками и какого-то полутаинственного полумистического ожидания наступления светлого будущего. Это «коммунистическая парусия», обещанная Хрущевым на XXI съезде КПСС, уже тогда воспринималась большинством советских граждан как утопия, но одновременно в наших юных головах вертелась и такая мысль: скорее всего

Америку мы через двадцать лет не сумеем догнать, но к концу второго тысячелетия – чем черт только не шутит! Высокие темпы экономического роста, робкие шаги по демократическому обновлению страны, развенчание культа личности Сталина, публикация произведений Солженицына, стремительное обретение государственной независимости колониальными народами, эйфория, вызванная полетом Гагарина и победа кубинской революции, казались тому порукой. Этот исторический оптимизм, вкупе с энергией беззаботной молодости, окрашивал в позитивные тона мою учебу в Уральском университете. Я и поныне испытываю искреннюю благодарность к моим учителям, преподавателям исторического факультета М.Я. Сюзумову, Н.А. Бортнику, М.А. Поляковской, И.Н. Чемпалову, В.Ф. Геннингу, В.В. Адамову, Г.А. Калугиной, В.И. Шихову, Ю.А. Попову, Т.Н. Дербуковой.

– Что Вы думаете и как переживаете в настоящее время период Вашей работы на философском факультете УрГУ?

Большим событием в моей жизни было, конечно, учреждение философского факультета, где я проработал в общей сложности девятнадцать лет, не считая двух поездок на Кубу в качестве преподавателя-консультанта и в Мексику в амплу стажера-исследователя. Главная заслуга в организации центра философского образования на Урале, несомненно, принадлежала Михаилу Николаевичу Руткевичу и членам возглавляемой им кафедры. Вокруг авторитетной и, вместе с тем, авторитарной личности первого декана собралась большая группа сподвижников, среди которых стоит упомянуть Л.Н. Когана, Л.М. Архангельского, М.Я. Лойфмана, К.Н. Любутина, А.Ф. Еремеева, В.К. Бакшутова, В.Т. Звиревича и вскоре влившихся в преподавательский коллектив Б.В. Емельянова, В.М. Плотникова, Г.П. Орлова, Д.В. Пивоварова. Молодой учебный организм остро нуждался в кадрах, поэтому многие выпускники гуманитарных факультетов, в числе которых был и я, стали аспирантами кафедры философии. Еще будучи студентом истфака, я начал писать курсовые работы под руководством К.Н. Любутина, впоследствии руководителя моей кандидатской диссертации, третьего декана философского факультета, а в те годы молодого энергичного доцента, наделенного недюжинным

чувством юмора. К фигуре «Создателя» (метафора Любутина) философского факультета мое отношение было и остается двойственным. С одной стороны, меня привлекала строгая логика его аргументов, несомненная эрудиция, умение подводить итоги горячим и разноречивым выступлениям членов кафедры, которых он особо не стеснял в свободе выражения. Я отдаю должное и административным заслугам первого декана: умению стимулировать приток на факультет способных студентов и привлекать к преподаванию опытных профессоров и ученых из других академических учреждений. Несомненно, Михаил Николаевич много сделал для становления молодого факультета. Но с другой стороны, я погрешил бы против истины, если бы не отметил его властный характер, деспотический патернализм, нетерпимость к отступлениям от марксистской догмы, скрытую неприязнь к неординарному мышлению более талантливых философов, превосходивших его своей культурой и оригинальностью, что, несомненно, уязвляло его самолюбие и даже, насколько мне известно, побуждало его писать на них разоблачительные доносы. Я хорошо помню тот ажиотаж, который вызвал приезд академика Ф.В. Константинова на «смотрины» кандидатуры нашего декана перед назначением его на высокий пост директора института социологии в Москве. Высокому столичному гостю неожиданно приглянулась Валентина Ивановна Липатникова, которую Михаил Николаевич незадолго до этого назначил своим заместителем. Позже Валя рассказывала мне о своих впечатлениях от встречи с патриархом исторического материализма. Во время своего пребывания в Свердловске высокий гость требовал, чтобы в Обком, Горком, театры и рестораны его сопровождала белокурая статная женщина, с которой ему нравилось прогуливаться под руку. Изнемая от стыда, вызванного преувеличенной куртуазностью академика и пересудами партийных чиновниц, замдекана не выдержала и попросила своего начальника освободить ее от назойливого ухаживания старого донжуана с замогильным голосом. А Руткевич, перепугавшись за свою карьеру, начал ее умолять: «Валюша, дорогая, я прекрасно понимаю твои чувства, но и ты должна меня понять! Потерпи, голубушка, ведь от мнения Константинова зависит утверждение моей кандидатуры в ЦК».

Другой значительной и неординарной фигурой факультета был, несомненно, Л.Н. Коган, который еще в 1963 году читал нам, студентам историкам, пробный курс по «Научному коммунизму». Содержание его лекций сейчас уже выветрилось из моей головы, но я храню положительные впечатления от встреч с этим талантливым человеком, хохмачом и острословом, к великому сожалению, растратившему свой творческий ум на схоластические дебаты по поводу несбыточных коммунистических фантазий. Впоследствии судьбы этих двух лидеров резко разошлись. Помню, какое неприятное впечатление произвел на меня выпад М.Н. Руткевича против тогда уже покойного Л.Н. Когана, старого его товарища, который, по словам первого, согласился, я цитирую, «из чисто карьерных соображений» прочитать курс научного коммунизма, что, однако, «не помешало ему после прихода к власти Ельцина публично сжечь свой партбилет». Я полагаю, что в противоречивых фигурах Льва Наумовича и Михаила Николаевича, уже ушедших от нас, по-разному отразились сложные перипетии трагических судеб советской интеллигенции, исковерканных режимом диктатуры пролетариата, которая гораздо в большей мере была диктатурой *над* пролетариатом, а тем более *над* интеллигенцией, даже *над* той ее частью, которая оказалась втянутой в идеологическое обслуживание интересов партократии.

Удивительный парадокс: наша страна семьдесят лет строила социализм, но нравственное сознание его авангарда, партии коммунистов, было ничуть не выше простых моральных норм советских людей, направляемых и ведомых этим «путеводителем» к вершинам светлого будущего. В СССР насчитывалось тогда двадцать миллионов коммунистов, но сколько из них, положив руку на сердце, могли бы утверждать, не боясь покуситься на правду, что они в своем повседневном поведении руководствуются высокими принципами морали, несомненно заложенными в уставе и программе КПСС. Многие ли из них могли бы сказать о себе: я не ворую, не лгу, не завидую своему ближнему, не подсиживаю своих коллег, не беру взяток, не торгую своим служебным положением, стараюсь быть объективным, добросовестным и честным? Этика Канта (которую Ленин ошибочно считал оторванной от жизни)

требует универсализации воли каждого человека. Канта интересует такая ситуация, в которую человек попал бы, если бы его собственная воля обратилась на него и даже против него в качестве универсальной и узаконенной. Если ты коммунист, да еще руководитель, умеешь соотносить свое действие с универсальным законом: не груби своим подчиненным, будь вежливым, не будь самодуром. Разве можно быть требовательным к другим и снисходительным к самому себе? Разве можно преподавать курс философии и быть одновременно демагогом и карьеристом? Если ты хам и деспот, то как ты можешь требовать от других вежливости и терпимости? Категорический императив Канта имеет, на мой взгляд, и дидактический смысл: он предписывает каждому человеку возводить максимум своего действия в универсальную норму и, осознав последствия такого многократно мультиплицированного эффекта, воздержаться от поступков, толкающих его ко злу. Увы, чрезмерная забота о личном благополучии, неспособность поставить себя на место другого, возвести свой индивидуальный мотив в универсальную норму привели к тому, что этический идеал социализма утратил для миллионов трудящихся свою былую привлекательность, был растоптан, испошлен и выродился в демагогическое лицемерие, во взаимоподсигивание, в крысиную борьбу за шкурный интерес, ложный престиж и раздутое самолюбие.

Главный недостаток, налагавший негативную печать на развитие философского факультета, заключался, на мой взгляд, в чрезмерной заидеологизированности всех сфер его деятельности. И что можно было поделать, если сама философия считалась тогда «партийной наукой». Я не буду рассказывать об утомительных и скучных бдениях на факультетских или общеуниверситетских партийных собраниях. Зато гораздо интереснее, с моей точки зрения, проходили заседания кафедры. На них обсуждались тексты диссертаций, готовились доклады, реферировались новые книги, обсуждались учебные планы и программы. Эти встречи были весьма содержательными и духовно обогащали преподавателей и аспирантов; я с удовольствием вспоминаю эти «ассамблеи», проходившие, как правило, в дружеской обстановке, сдобренные чувством юмора. Такая же искренняя доброжелательность царил на демон-

страциях, субботниках, коллективных поездках на совхозные поля, где преподаватели и студенты добросовестно работали в атмосфере взаимного уважения. Другое дело, что советская партийно-административная система цинично злоупотребляла молодежной романтикой. В те годы студенты первых трех курсов в принудительном порядке посылались на колхозные поля, и я тоже, прошедший через это чистилище, могу заверить, что физический труд, санитарные и климатические условия были суровыми, а питание весьма скудным. А к каким гигантским растратам интеллектуального труда приводили подобные мобилизации! Миллионы студентов каждый год теряли как минимум месяц в изнурительных баталиях на сельскохозяйственном фронте. А если к этому добавить военную подготовку старшекурсников, отнимавшую один день в неделю в течение трех семестров, то растрата времени в советских вузах была колоссальной. Неэффективность нашей партийно-бюрократической и экономической системы в семидесятые и восьмидесятые годы и всепроникающий спрут коррупции – «блат», сделавший притчей во языцех. Склеротический режим зашел в глубокий тупик, и действия Горбачева, взявшего курс на осуществление радикальных преобразований, были, на мой взгляд, оправданы уже тем, что зловонный запах, вызванный разложением «живого трупа» «развитого социализма» (диагноз, который пытался поставить еще Ю.В. Андропов в своей знаменитой статье, опубликованной в журнале «Коммунист»), уже не давал никому свободно дышать. Другое дело, что благие намерения последнего генсека КПСС оказались воистину роковыми и замостили дорогу в ад: привели к распаду страны и крушению социалистического строя. Да и был ли этот распавшийся режим социалистическим с точки зрения тех критериев, которые были выработаны классиками марксизма? Увы, сейчас непросто дать однозначный ответ на этот вопрос.

В самый разгар «Перестройки» я отправился на стажировку в Мексику, где меня начали приглашать в различные аудитории для чтения лекций по советским реформам. Основная идея моих выступлений состояла в том, что «Перестройка» – это попытка соединить ценности социализма с принципами демократии. Но, увы, очень быстро и совершенно неожиданно для всех «Перестройка»

выродилась в «Катастрофу», а Советский Союз распался на пятнадцать государств, во многих из которых восторжествовал олигархический капитализм, олицетворяемый именами Березовского и Ходорковского, Коломойского и Ахметова. Мне кажется, что и в мире, и в России до сих пор царит разноречивость в ответе на вопрос о возможности сочетания социализма и демократии. Ответ на него иногда дается в форме непримиримой антитезы: где существует социализм, там невозможна подлинная демократия, а где имеет место быть демократия, там невозможен подлинный социализм. Несомненно, многие человеческие ценности сталкиваются между собой: свобода нередко противоречит равенству, нравственность – счастью, долг – любви, справедливость – выгоде, целесообразность в настоящем – ее отдаленным последствиям в будущем, рынок – государственному регулированию экономики, демократия – социализму, права государства на территориальную целостность – правам народов, населяющих эту территорию, на самоопределение. И, тем не менее, в реальной жизни эти принципы сочетаются и должны соединяться, без чего нормальное человеческое общежитие просто невозможно. Социализм, построенный на принудительном регулировании экономики и идеологизации всех сфер общественной жизни, по моему мнению, столь же односторонен, как уродлив «свободный» никем и ничем не ограниченный капитализм. Сочетание этих антитез – сложное искусство, и механическое внедрение гетерогенного принципа в гомогенную систему может моментально взорвать ее изнутри. Убедительный тому пример – закон о кооперативах и предпринимательской деятельности, внедренный в экономику по инициативе Горбачева в самом начале Перестройки, и послуживший, на мой взгляд, мощным детонатором, взорвавшим фундамент социалистической системы хозяйствования и общественных отношений. Недавно я из любопытства прочитал в википедии биографии русских и украинских мультимиллиардеров и убедился в том, что почти все они – способные, чертовски честолюбивые и прагматичные вплоть до цинизма молодые люди, плоть от плоти советской системы – начали свой стремительный бег к головокружительному обогащению именно с кооперативов, которые затем в форме коммерческих предприятий ста-

ли внедряться почти на всех государственных предприятиях и в партийно-комсомольских структурах. Из омертвевшего социалистического кокона, внезапно вылетел отвратительный вурдалак нуворишей, которые, опираясь на тесные связи в партийно-комсомольско-государственном аппарате и не гнушаясь опорой на криминалитет, с невиданной скоростью «преобразовали» государственную собственность в частно-монополистическую. В годы «Катастрофы» вместо преодоления исторических перекосов тоталитарного социализма произошла деградация и открытое перерождение советского общества. Страна скатывалась к хаосу и дезинтеграции, и только смена власти остановила угрозу утраты Российским государством своего суверенитета, вызванного засильем олигархата.

– Чувствуете ли Вы себя до сих пор советским человеком?

Сейчас, пожалуй, уже нет. Кровавые события на Украине воочию показывают нам, русским, какой огромный ущерб большевики-общечеловеки нанесли коренным интересам русской нации, которая в настоящее время интенсивно переживает процесс консолидации и обретения подлинного национального самосознания. Кстати, с проявлением «укронационализма» я столкнулся еще в годы своей работы преподавателем-консультантом на Кубе. Мне и моим российским товарищам изрядно потрепали нервы наши украинские коллеги. Захватив партийные должности в группе советских обществоведов Гаваны, они всячески притесняли нас, русских, бесконечными мелкими придирками, обвиняли в идеологической невыдержанности и отсутствии бдительности, словом, использовали каждую возможность для развязывания безудержной демагогии с целью держать нас в узде, чтобы, как я подозреваю, скрыть свою профессиональную непригодность. Несмотря на позицию «коммунистической святости», эти «Шариковы» испанский язык никогда серьезно не изучали; главное для них было накопить побольше денег и остаться как можно дольше на хорошо оплачиваемых должностях. Кстати, с кубинскими коллегами и студентами у меня завязались довольно дружеские отношения, чему, наверное, способствовали моя настойчивость в овладении испанским языком и готовность к конкретной по-

вседневной работе. Сейчас я отчетливо понимаю, что если украинский национализм, равно как и национализм других республик, был замаскирован личиной советского образа жизни и коммунистической идеологии, то для русских идентификация с «новой исторической общностью» нередко вела к обезличиванию и к забвению нашей великой культуры и вековых традиций нашей истории.

Я являюсь сторонником непрерывности нашей истории, преемственности, которую коммунистическая идеология, в советском ее обличье, решительно отрицала, культивируя принцип радикальный трансформации «все или ничто», требующий не просто улучшения мира, а уничтожения всех следов его несовершенства. Как бы это ни казалось парадоксальным, но подлинными преемниками советской ментальности, с присущей ей догматизмом и метафизическим методом мышления (в том значении, в каком его употреблял Энгельс), сегодня, на мой взгляд, являются не столько коммунисты, сколько непримиримые оппозиционные либералы типа Немцова, Новодворской или Каспарова. Выступление последнего я имел возможность лицезреть не так давно в Мексике на телевизионном канале CNN. Вслушиваясь в английскую речь советского шахматиста, я поражаюсь его оголтелой ненависти к Путину как исчадию ада, которого он с упорством, достойным лучшего применения, пытался отождествить со всем русским народом. Но подобная безрассудная сатанизация, увы, превращает мир из объемного и многоцветного в плоский и черно-белый, лишает его не только всевозможных оттенков, но и отнимает у самого носителя ненависти возможности к объективному постижению истины. Речь растолстевшего гроссмейстера лишний раз убедила меня в том, что «совковое черно-белое мышление» – детище большевизма, до сих пор держит в плену радикально-либеральных креаклов, не сумевших создать за четверть века существования независимой России ничего стоящего, если не считать жалких подражаний западному авангарду и бесконечного нытья. Я горжусь тем, что моя юность совпала с поколением шестидесятников, которые в послесталинскую оттепель удивили мир своим великим искусством и выдающимися научными достижениями, внесли огромный творческий вклад в развитие культуры нашей многонацио-

нальной страны. Стоит только проделать мысленный эксперимент: поставить имена шестидесятников – Шаламова и Солженицына, Щедрина и Свиридова, Айтматова и Искандера, в один ряд с именами либеральных креаклов – Макаревичем, Шендеровичем, Улицкой или Ксенией Собчак, как нам сразу же станет стыдно за подобное кощунственное сравнение. Я выбрал наугад только несколько имен из созвездия великих творцов, живших и созидавших в один из самых плодотворных периодов нашей многострадальной истории, в эпоху, которую можно, ни сколько не погрешив против истины, поставить в один ряд с могучей русской культурой «Серебряного века».

– Как случилось, что Вы уехали в Мексику? Судя по Вашим публикациям, присвоенным званиям, перечню университетов, в которых Вы работали, в целом Ваша научная и преподавательская деятельность в Мексике оказалась плодотворной. Но и с Россией связь, по-видимому, не разрывалась. Как сложилось Ваше сотрудничество с российскими изданиями?

Как я уже упомянул, в 1988 году меня отправили на стажировку сроком на десять месяцев в Национальный Автономный университет Мексики. Там я завязал дружеские связи с моими зарубежными коллегами, и через три года они оформили мне вызов на международный симпозиум, посвященный 500-летию открытия Америки. Спустя месяц я был приглашен на работу в качестве профессора Автономного Университета штата Мехико. Сравнительно быстро адаптировавшись к культуре и традициям Мексики, я усовершенствовал свой испанский язык, что позволило мне свободно заниматься и преподавательской, и творческой деятельностью. С середины девяностых годов, вскоре после зарождения Интернета, мне удалось возобновить публикации своих работ в России. В настоящее время я сотрудничаю с различными научными изданиями Екатеринбурга и Челябинска. Совместно с кафедрой политологии Южноуральского университета, возглавляемой В.Е. Хвощевым, и координируемым мной академическим корпусом по проблемам современной философии, мы выпустили шесть русско-мексиканских сборников и коллективных монографий, посвященных проблемам дискурсологии. Десять лет тому назад Ольга Фредовна и Василий Матвеевич Русаковы

посетили Мексику и выступили со своими докладами и лекциями, которые я переводил на испанский язык. Без тени ложной скромности, я могу констатировать, что в меру своих сил и возможностей я стараюсь быть полпредом двух культур – русской и мексиканской. Например, в соавторстве с Борисом Владимировичем Емельяновым я опубликовал две книги на испанском языке по истории русской философии. А всего за 23 года моего пребывания в Мексике я перевел с русского на испанский и с испанского на русский язык двадцать статей моих русских и мексиканских коллег. Год тому назад мне удалось пригласить на гуманитарный факультет, где я работаю преподавателем в аспирантуре, моего друга Андрея Федоровича Кофмана, латиноамериканиста, заведующего отделом Института мировой литературы, который прочитал для мексиканских аспирантов курс лекций по истории латиноамериканской культуры, а заодно опубликовал несколько статей в университетском журнале «La Colmena».

Хотелось бы также затронуть и такой деликатный и весьма неоднозначный аспект как русская миграция за рубеж. Иногда нас, специалистов, работающих за пределами страны, упрекают в бегстве из России на трагическом изломе ее истории, обвиняют в том, что наш переезд вызвал утечку мозгов и уменьшил интеллектуальный потенциал страны. Не стану отрицать: определенная доля истины в подобных утверждениях, несомненно, присутствует. Но с другой стороны, миграция за рубеж помогла десяткам тысяч русских специалистов, невостребованных в собственной стране, спастись от деградации и прозябания на грани физического выживания, на которые их обрекла безответственная и антинародная политика президента Ельцина. У подавляющего большинства моих соотечественников, переехавших за рубеж, остались на родине родные и близкие. И по мере укрепления своего финансового положения, они сразу же начали отправлять в Россию денежные переводы. Как и многие зарубежные соотечественники, я тоже старался оказывать посильную материальную помощь своим престарелым родителям, детям и родственникам, очутившимся в отчаянно-трудном положении в девяностых годах прошлого столетия. Без этой финансовой поддержки жизнь миллионов граждан России, несомненно, была бы труднее.

– *Свои философско-антропологические работы Вы посвящаете таким явлениям и понятиям, как аффекты, переживания, любовь, зависть, вина, смысл жизни... Вы не боитесь заглядывать даже в такие травматичные для психики человека сферы, как чувства и память о жизни и отношениях людей в концлагере. Одно из понятий, которому Вы посвятили несколько научных работ – «признание». Это выражение средостения между личностью и обществом? Не могли бы Вы раскрыть содержание данного понятия.*

Категория «признание» (по-немецки Anerkennung) была впервые отчеканена в *Феноменологии духа* Гегелем. Необходимость в признании выражает коренное антропологическое свойство человека, конституируемое в его отношении к другому человеку, в котором он нуждается не только для обмена благами и услугами, но и для подтверждения собственной значимости. Уже Аристотель пришел к идее о том, что в отличие от богов и животных, как существ самодостаточных, человек по своей биологической конституции является несамодостаточным, а стало быть, его существование нуждается в отношении со своими сородичами. Но для Аристотеля это отношение связано не столько со стремлением к признанию, сколько с необходимостью производства и обмена продуктами для удовлетворения потребностей людей. Только Руссо впервые открыл в отношении человека к человеку потребность *быть принятым во внимание, «социабильность» sui generis*, которая отнюдь не сводится к утилитарной расчетливости, равно как и не исчерпывается жаждой обретения славы или престижа. Наоборот, само стремление к удовлетворению самолюбия, резюмирующееся в обладании славой или престижем, может быть понято на базе желания *быть значимым* в глазах других.

Можно предположить, что наше существование лишилось бы важных стимулов или вообще утратило бы всякий смысл, если бы желание отличиться, выделиться, ощутить собственную ценность, заслужить уважение или просто быть полезным другим людям время от времени не появлялось бы в нашем сознании и не проходило бы через наши чувства. Желание быть признанным, разумеется, не исчерпывает всей

нашей жизни, хотя, несомненно, составляет её неотъемлемую часть. Если бы не существовало признания, то исчезли бы важные стимулы, побуждающие нас к реализации наших способностей. Возможно, что исчезли бы тогда алчность, ревность, зависть, злоба и тщеславие. Но можно ли, изъяв из жизни человека стремление быть признанным, одновременно сделать её деятельной, творческой, интенсивной и возвышенной? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, однако можно утверждать, не боясь ошибиться, что, если бы мы подавили в себе желание быть кем-то во мнении других, если бы мы отреклись от стремления быть принятыми во внимание, то, может быть, мы и продолжали бы жить, но суждения и оценки значимых для нас других людей утратили бы для нас всякую мотивирующую силу, и мы, скорее всего, превратились бы в безродных одиночек, влачащих жалкое существование без всякой цели и смысла. Именно признание делает человека *общественным человеком*. Признать заслуги человека – значит окрылить человека, вдохнуть в него новую жизнь.

Чтобы находиться на высоте признания, его искатель должен быть предусмотрительным: постоянно обогащать свой опыт и свои заслуги. Когда ему приписывают высокие качества, то что-то должно говорить ему изнутри: «за работу, не расслабляйся, не останавливайся на достигнутом, ибо в противном случае тебе грозит потеря доверия». Может быть поэтому в переживании признания, наряду с радостью торжества, иногда присутствует и некоторая доля смущения, ибо, когда мы не уверены в собственных силах и боимся опуститься ниже того, чего от нас ожидают другие, то заранее предвосхищаем стыд, который и побуждает нас не отступать, а прилагать максимум усилий, чтобы удержаться на высоте однажды завоеванного. Чтобы эффективнее осуществлять свое *призвание*, нам необходимо ощущать на своем плече твердую руку поддержки *общественного признания*. Можно сказать, что признание придает становлению незрелой личности прочность и основательность бытия человека умудренного жизненным опытом. Накопленный *капитал признания* ободряет нас, придает нам уверенность и как бы говорит: «ты способен пойти дальше уже достигнутого или, по крайней мере, не растерять однажды завоеванное». Для заслуженного чело-

века его внутренняя мотивация и самоуважение важнее всякого внешнего стимула.

Как бы человек ни был уверен в своих предшествующих достижениях, его преследует озабоченность, связанная с желанием подтвердить или увеличить свои заслуги, для чего он и ищет признания у своих сородичей. Если мы внимательно понаблюдаем за окружающими нас людьми, то вскоре заметим просительный оттенок во взгляде того, кто закончил какое-нибудь дело, завершил какое-либо произведение или просто значительно продвинулся в своей работе: и что? и как? не правда ли хорошо? как бы говорит нам его вопрошающий взгляд. Признание активизирует внутренние возможности человека, заставляет его не удовлетворяться наличным состоянием дел и возвышает над уже достигнутым результатом.

– *Слушая Ваш доклад о сослагательном наклонении как виртуальном дискурсе и при общении с Вами, я подумала, что Вы несколько отличаетесь от многих из нас, обладаете внутренней свободой, в Вашей речи отсутствует какая-то зашоренность, нарочитая наукообразность, в Ваших книгах и выступлениях нет самоцензуры и оглядки на возможную оценку со стороны, нет напряженности... Эта внутренняя свобода – это дар природы или можно ее выработать или выстрадать?*

Что касается внутренней свободы, то это не только дар природы и не только объем присвоенных знаний или наработанных умственных навыков, служащих ее предпосылкой, сколько выход из состояния незрелости, в котором человек находится из-за своей неспособности или недостатка решимости пользоваться собственным умом без чужого руководства. Sapere aude («мужество пользоваться своим разумом») – этот кантовский императив автономии мысли, ставший девизом Просвещения, в полной мере может быть назван и предпосылкой внутренней свободы мысли, вырабатываемой многолетним ее упражнением.

Что касается сослагательного наклонения, то частица «бы» его конституирующая, – это признание необратимости времени, невозможности вернуть или переиначить однажды случившееся и, одновременно, – стремление посмотреть на прошлое глазами настоящего, оценить неизведанные или неиспользованные возможности, которые мы, тогда еще неумудренные достаточным опытом,

не сумели или не смогли распознать, и только теперь с высоты настоящего обретаем возможность составить о них более адекватное суждение. Иногда человек затрачивает огромные усилия на то, чтобы стать тем, кем он является. Но потом он спрашивает себя: а стоило ли? И не перестает терзаться тем, что это сомнение не посетило его до того, как исчезла возможность выбора иной жизненной стези. Сослагательное наклонение может индуцировать процесс переосмысления того, что ранее считалось твердо установленной жизненной аксиомой, но теперь, по прошествии времени, она нас уже больше не удовлетворяет. Сколько времени и сил мы смогли бы сберечь, если бы достаточные основания, определившие наши решения в прошлом, были соразмерны реальным достигнутым результатам. Но, увы, какой бы лучезарной ни казалась нам желанная цель, путь, ведущий к результату, погружен в полумрак, и мы спотыкаемся, бредя к нему навстречу; ибо в зазор, отделяющий наш замысел от его воплощения, нередко вклинивается непредвиденный случай, развенчивающий иллюзию полного торжества намерений нашей воли.

Многие люди, за исключением самодовольных идиотов, редко бывают полностью довольны своей жизнью, а потому жалуются, негодуют, гневаятся, стыдятся и мучаются угрызением совести. В основе всех этих и многих других аффективных переживаний лежит сознание различия между тем, *что мы сделали* и тем, *что мы могли бы сделать*. Если бы не существовало этого различия, то многие эмоции навсегда бы исчезли из нашей психики. Например, в основе дискурса переживания вины лежит сознание необратимости времени и иррациональное стремление переделать или отменить случившееся. Сознание виновного, словно заезженная пластинка, закликивается на том моменте прошлого, который привел его к нежелательному событию и теперь терзает его совесть муками угрызения. Если ностальгия – это сожаление о прошлом, которое сопровождается положительными эмоциями, окрашенными светлой грустью, то, напротив, вина – это сожаление о «проклятом прошлом», которое помимо нашей воли с какой-то невротической навязчивостью вклинивается в настоящее и заслоняет, подобно высокой стене, горизонт

будущего. Это прошлое (с момента свершения рокового проступка до печального настоящего, в котором этот поступок переживается) изолирует субъекта вины не только от будущего, но и от того безмятежного состояния, которое предшествовало этому недолжному событию – предмету его терзаний. Нам кажется, что если бы прошлое было обратимым, то мы могли бы спастись от терзающих нас мук совести, хотя, одновременно, мы понимаем, что никто, ни даже сам всемогущий господь Бог, не смог бы сделать бывшее небывшим и небывшее бывшим. Но с другой стороны, если бы не существовало сослагательного наклонения, то прошлое превратилось бы в мрачное царство фатальной предопределенности, а его агенты – в марионеток, управляемых всемогущим кукловодом. Именно таким прошлое предстает под пером некоторых историков, абсолютизирующих *ставшее*, забывающих о *становлении*, которое вносит в историю *виртуальный драматизм нереализованных возможностей*.

Поэтому для историка важно принять во внимание не только то, что реально произошло, но и то, что могло бы случиться в изучаемый им период, ибо только так он будет располагать возможностью рассматривать историю как взаимодействие и борьбу различных групп, которые, исходя из своих планов и проектов, из своего прошлого (которое было для них настоящим) старались воплотить в будущее то, что для них казалось тогда наиболее целесообразным, оптимальным и справедливым. Историк, который полагает, что можно пренебречь другими альтернативами, которые люди в свое время считали приемлемыми, не способен постичь прошлое таким, каким оно было в действительности. Чтобы понять, что же происходило на самом деле, он также должен представить себе то, чего в реальности не случилось, но *что могло бы произойти* по мнению современников. Это тем более верно, когда реальная развязка наступает неожиданно, как, например, это случилось с началом Перестройки, когда возможность ее трансформации в дикий капитализм никто не мог себе даже и представить до тех пор, пока эта возможность не стала осязаемой реальностью.

– *Кто из предшествующих мыслителей оказал на вас наибольшее влияние?*

Моим философским кумиром, когда я работал над кандидатской диссертацией (на докторскую у меня никогда не хватало ни времени, ни терпения, иначе я бы давно умер от инфаркта, которого, увы, мне так и не удалось избежать), был Джордж Герберт Мид. В то время я много переводил с английского языка, изучал произведения Чарльза Пирса, Джона Дьюи, Уильяма Джеймса, Райта Миллса, Роберта Мертона. После защиты диссертации в 1971 году я увлекся работами этологов, возглавляемых Конрадом Лоренцом и Нико Тинбергом, а также трудами дарвинистов-неоэволюционистов – Эдварда Майра, Джорджа Симпсона, Феодосия Добжанского, синтезировавших теорию эволюции и естественного отбора с основами генетики. Позже, уже на испанском языке, я прочитал основные работы представителей философской антропологии Макса Шелера, Арнольда Гелена, Хельмута Плесснера, Михаэля Ландманна, Ханны Арендт, Хареда Диамонда, основателя социобиологии Эдвард Уилсона. Когда я работал в России и на Кубе, в центр моего внимания попали произведения философов экзистенциалистов: Жана-Поля Сартра, Альберта Камю, Мигеля Унамуно, Хосе Ортега-и-Гассет, Карла Ясперса, Льва Шестова. В Мексике я познакомился с трудами социологов и феноменологов, исследователей внутреннего мира человека: Франческо Альберони, Владимира Янкелевича, Роже Кайлуа, Карла Густава Юнга, Абрахама Маслоу, Эриха Фромма, Эмиля Чорана, Фернандо Саватера. Из отечественных мыслителей значительное влияние на мое философское развитие оказали блестящие работы Эриха Юрьевича

Соловьева, посвященные анализу творческого наследия Мартина Лютера, экзистенциализма, этических и правовых идей Канта.

– *Какие из своих произведений Вы считаете наиболее удавшимися?*

Философская зрелость, в отличие от поэтического дара, наступает довольно поздно, в осеннюю пору жизни, а иногда, как в моем случае, она приходит к началу «зимы». Если я и произвел на свет что-то стоящее, то сделал это в последнее двадцатилетие: между старостью молодости и молодостью старости. Из своих работ, изданных на русском языке, я хотел бы отметить два сборника афоризмов *Приглашение к парадоксу*, *Между нечто и почти ничто* и два сборника эссе: *Человек и мир его переживаний*, *Аффективные переживание и поиски смысла жизни*, выпущенных в свет в Екатеринбурге, а также пару книг: *Афоризм – катарсис мысли* и *Признание – смысл межчеловеческих отношений*, изданных в Москве. За двадцать два года, проведенных в Мексике, я выпустил всего четырнадцать книг афоризмов, эссе, статей, учебных пособий и переводов, а также опубликовал свыше ста журнальных работ на испанском и на русском языках по проблемам человека, его существованию и его внутреннему миру. Помимо Мексики и России мне удалось издать свои эссе и афоризмы в Испании, Германии, Бразилии, Колумбии, Соединенных Штатах, на Кубе и на Тайване. Четыре мои испанские книги вышли в свет вторым изданием.

Материал поступил в редколлегия 15.08.2014 г.

BETWEEN TWO CULTURES: A COURSE OF LIFE AND MARKS OF CREATIVITY OF THE FORMER TEACHER OF PHILOSOPHICAL FACULTY OF USTU

Interview with M.A. Malyshev

Prepared and Conducted by I. B. Fan